

# «ОТЧЕГО ТЫ СТОИШЬ ВДАЛИ?»

## Июль, Сухум

Я почти упала на змею. В последнюю секунду что-то заставило встряхнуть полотенце. Змея скользнула кругом и скрылась в вещах. В радиусе полукилометра на пляже никого не видно. В метре от меня лежит огромная длинная палка, как будто заготовили. Стою смотрю на нее. Не решаюсь.

Зову на помощь. Крепкий мужчина по одной тряпочке собирает мои вещи палкой, пока змея не остается на пустом песке. Я сгребаю все в охапку и ухожу скорее, пока он медлит. Оборачиваюсь – готово. У меня вспыхивают щеки. Неприятное чувство неловкого, необъяснимого стыда за эту bestолковую смерть провожает меня до дома.

Никто не догадывается, что я прилетела сюда, потому что у меня дома ремонт и жить мне негде, сил разбираться с этим нет, все заняты, мама здесь, мне очень больно, а диагноза моего никто не знает. Окружающие почему-то думают, что я отдыхаю. Сухум.

Здесь столько полуразрушенных зданий, из которых смотрят кроны, и так мало людей, что кажется, будто стоял когда-то город, но потом пришли деревья и съели его. Потому они такие большие вымахали, потому у них длинные веские пуза.

Совсем нет рекламы.

Я видела один щит, где-то на въезде в Сухум. Тариф «Курортный». А в городе – пустота. Как в центральной части Рима, где все продается и все покупается без рекламы, потому что это и так Рим, и где даже супермаркет днем с огнем не сыщешь, если кто-то из местных не расскажет, в каком закоулке они замаскировали продуктовый под что-то красивое и ненужное.

Но в Риме нет этой оглушающей зелени. Там она красива, претенциозна, но не звонка. До минор. Что-то на спуске, не на подъеме.

Мама хочет попробовать обезболить меня уколом гормона, раз больше ничего не помогает. Я долго не соглашаюсь, я очень не люблю гормоны, она уговаривает меня. Расходимся. Через день приползаю как миленькая. Мамочка, уколи.

– Не буду. Эти аборигены тебя в случае чего не спасут.

– Зачем тогда предлагала?

– Думала, у тебя будет приятное ощущение запасного выхода, на который ты просто не можешь решиться.

Эти улицы оживляют во мне образ Лары из «Доктора Живаго», потому что Пастернак писал, что она не пыталась быть красивой и притягательной, тем очаровывая еще сильнее.

Эти ветки похожи на ожившую акварель. Как на пленэре, чуть от листа отвернулся – потекло. И не хочется признаваться, что так даже лучше.

Здесь природа восполняет все, что ты видел в жизни неживописного. И это тихое приподнимающее чувство внутри – благодарность.

– Аня, принеси мне мой телефон, возьми в сумке. Если там не лежит, то не бери.

– Да уж, хорошо, мам, не возьму, если не лежит.

Она смотрит на меня сурово, так, будто не заметила своего простого точного каламбура, но она заметила, и вообще, я не уверена, что это не специальная острота. Очень сложно с этими умными людьми, я постоянно теряюсь.

Всего два раза заходила в воду за три недели воздуха. Болею. Почти не шевелюсь. Смотрю неумелые телефонные фото ребят, возвращающихся затемно с экскурсий. На заднем плане всегда маячат другие фотографирующиеся люди. И как только женщины так изгибают бедра да вскидывают руки при виде объектива? что значат эти позы изломанных деревьев? что говорят психологи? или они сами так фотографируются? При виде таких позирований вживую или на снимках в ушах сразу раздается дребезжащий голос гида, читающий какие-нибудь пошлые стихи о том, какая великая у него страна. Пошлость непошлых людей и удивительная точность, неизменная уместность красоты абхазской природы.

– Ань, я не выйду на набережную в такое время.

– Как? Почему?

– Сейчас же люди с кругами с пляжа идут. Сырые люди с надувными кругами под мышкой идут с пляжа через весь город. Это же напасть какая-то. Гадость. Моя воля, я бы отели бронировала, только предварительно узнав, ходят ли мимо люди с кругами. «Алло, девушка, извините, не подскажите, вокруг вас много людей с кругами под мышкой?»

А вы не могли бы выйти и посмотреть? Сколько конкретно? Спасибо, мы подумаем».

Как же хочется плавать! Хожу в воде из стороны в сторону. В глубину – красивая сторона, к берегу – нет. В красивую сторону видно перспективу тонких водяных струек на поверхности, становящейся небом, видно моногамию и тишину. В некрасивую опять видно всех вас. На горизонте есть черная точка чьей-то головы – кого-то очень здорового, судя по всему: он может плыть в красивую сторону бесконечно, но, мне кажется, он не видит в воде моногамии. Здоровым людям можно не заморачиваться.

Внутри все вспархивает и барахтается, все в попытке взлететь. Ощущение краткости жизни вспыхивает с каким-то материнским отливом, с желанием успокоить – более, нежели укорить.

Хочется вызвать «скорую», чтобы просто сказать кому-то, что тебе нужна помощь, кому-то, кто этого еще не слышал. Надо дотерпеть до России, там есть шанс чего-то добиться.

В а р я. Аня, я обновила версию игры, теперь стало прикольно, но непонятно.

Я. О, это как моя жизнь! (Пауза.) Понятно?

В а р я. Не-а.

Я. Зато прикольно.

Я не хочу рассказывать истории. Есть удивительные бессловесные вещи, сломы одного внутреннего цвета на другой, вязкие, надутые состояния нутра, от которых по всему телу щекотно. Для них и нужно кино. Для той передачи, которую слова бы сломали.

В кино хочется снимать то, чего не передать другим искусством – ни литературой (даже поэзией! даже!), ни музыкой, ни живописью. Только тогда есть шанс затронуть потенциал кинематографа.

### **Июль – август. Россия, больница**

Из квартиры по лестнице меня несли на стуле, с одной стороны отец, с другой – врач. У меня отказали ноги. Около подъезда переложили на каталку, и, вдруг увидев небо, я целую вечность плыла к машине «скорой помощи». Очень рано на улице, и на небе тоже рано, еще нет и семи утра. Небо огромное, его очень много, и оно чище всего вокруг, его как будто вымыли, а нас нет. Мне не страшно, но немного тоскливо и хочется, чтобы уже вечерело. Я врываюсь в потолок.

Как странно, отдаленно воспринимаются люди, если их голоса в твоём сознании не имеют лиц. Уже несколько часов, как я в больнице. Со мной в палате две бойкие женщины возраста моей мамы. Обе болтают

наперебой. Я лежу в попытке уткнуться лицом в подушку, не переворачиваясь на бок, чтобы не тревожить спину. Меня обстреливают вопросами, я молчу или мычу. На мне нет очков. У меня минус семь. Я вас не знаю.

Только в больницах бывают такие таинственные каши! Ешь и не знаешь, что за крупа. И хоть десяток человек опроси – у всех свое мнение. Чудеса!

Хочется благодарить, благодарить полностью, заливая, заполняя все допущенные пробелы, благодарить раз и навсегда, как печатью. Вдруг все чувствуется. Ананасовость ананасов, синева синего, земельность земли.

Вдруг все уместно, и боль уместна, даже не уместна, а нужна, и все нужно!

Не верится в широту своего счастья. Это что-то другое, неведомой протяженности и фактуры. Я внутренне даже не могу с ним справиться. Меня штырит.

Новая соседка достала из шкафа телевизор, который спрятала туда я.

– Ой, а у них и телевизоры есть!

– Да вы что, ничего себе!

Ставит на стол. Пуск. Включается с характерным шкворчанием бело-черных пятен на экране. Первая же интонация полощет по лицу. Зачем люди так разговаривают? Построение фраз, сам синтаксис телевизионного общения, закругление и завышение слов, размывание смыслов, какая-то забористость безвкусицы. Засыпаю под передачу про изменяющих мужчин.

Мой слух вопит. Беруши не спасают.

У меня очень тяжелая коляска. Пока еду до туалета, врезаюсь в капельницу, угол кровати, угол стены соответственно. Но все равно это не так ошеломляюще жалко, как когда кто-то толкает сзади. Особенно кто-то из родных.

Пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, не надо со мной разговаривать! Мы же просто лежим в одной палате, это можно делать молча.

Я не умею отвечать на неточные, пустые вопросы малознакомых людей. Меня будто загнали в угол и избивают. Я буду молчать.

Мы сидим на желтой кованой скамейке больничного садика, я и самый близкий мне человек. Еще пару дней назад он привозил меня сюда на коляске, сейчас же я сижу, бодро подобрав ноги по-турецки. Пока он не приходит, мне так пронзительно, жду и волнуясь, а когда приходит – совсем спокойно. Уже несколько лет мы общаемся

с переборами, последний был длиною в год. Первые секунды смотришь в его лицо и может показаться, что это совсем не тот человек. Кажется, все линии настолько сместились, настолько не вторят тем образам, которые держит наше воображение месяцами, что можно было бы и обознаться, признать его каким-то очень неверным подобием, какой-то частью сна. Но чуть углубиться – и все распробуешь, и как будто домой вернулся, а у мамы есть коронное блюдо, и оно сейчас на столе.

Я просыпаюсь оттого, что кто-то в шесть утра моет мою палату. Приоткрываю глаза, встречаю солнце и шорох. И эта женщина моет пол, как дышит, тихонько, по-птичьи, аккуратными отдельными шагами, и оглядывается на меня посмотреть – не разбудила ли. Я тут же замыкаю взгляд: нет, не разбудила. Мне так светло. Этот человек с раннего утра намывает больничные палаты, одну за другой, одну за другой, но не обособливается от нас, от наших жизней, от нашего сна, а старается изо всех сил не потревожить никого своей работой. Так просто, но так разительно, так недостижимо тяжело.

Всего неделю не ходила, а первые шаги, как перезвон колоколов, – дух захватывает. Схожу за кипятком и заварю чай.

Все-таки бывают лица: посмотрел, распробовал и будто выспался, будто вдохнул. Не виделись годами, а тут смотришь – светлое лицо же, все еще светлое, и ничем это не стереть. А налеты, а что налеты, они все по поверхности волочатся. Никому не нужные и неприкаемые. Все ухмылки, все шаги не в ту сторону, все боком. В лицо смотришь, в глаза самые – светло. И веришь в человека больше, чем, возможно, он сам, потому что он может сомневаться, а ты в нем без сомнений. И сам от этой веры тоже силы черпаешь. Удивительно!

Сквозь утренний сон все вопросы вхолостую. После четвертого слегка приподнимаюсь над подушкой.

– Что?

– Листья сухие на столе, выкидываю, да?

Листья с букета роз. Листья красивые и честны, листья с небольшой желтизной, листья высыхают. Как их ни положи – композиция, геометрия, калейдоскоп. От них маленькие синие тени, они хрустят. Иногда я сажусь рядом и перебираю их руками, играя природой и светотенью.

Но глупый, взъерошенный, как неуклюжий птенец, стыд мешает мне остановить ее, мешает сказать, что люблю, изо всех сил люблю эти листья, люблю то, что они тут лежат, и синие тени тоже люблю!

– Выкидываю тут всё.

Уборщица проводит рукой по лакированной поверхности, сметая бумагу, остатки хлеба, обертку сладкого батончика из аптеки и мои листья. Мои листья.

Восемь месяцев неутихающей боли, четыре неверных диагноза. И вот найдено. Фибромиалгия. Красивая печальная болезнь для таких, как я. Ни одного случая смерти и ни одного выздоровления за врачебную практику.

Хроническая боль. Лихорадка. Прием транквилизаторов ежедневно.

Долго по кабинетам умоляла добавить мне новокаин в ночные уколы, иначе невыносимо больно колоть. Добавили. Все равно больно. И только сегодняшняя медсестра зашла и сказала:

– Тебе больно? Ничего, я знаю секрет.

Она ввела сначала новокаин, выждала пару минут, а потом сменила колбу и ввела лекарство. Раньше вводили из одной и новокаин не успевал обезболить, его действие запаздывало. Так просто. Но это нужно подумать о человеке, потом взять отдельный новокаин, засесть время, дольше вкалывать, дольше возиться. Это столько лишних движений и расчетов, которые никто не делал, потому что и без них чай вытерпишь, не сбежишь. И так легко было не задумываться, а заставлять человека терпеть. Как твердолоба бывает система, как в ней туго и приглушенно раздаются твои крики и какое большое чудо каждое маленькое решение, принятое с открытыми глазами.

Смутно помню, как работал раньше мой мозг. Добавили антидепрессант и антиконвульсант дважды в день, постепенно увеличиваются дозы. Я просыпаюсь и засыпаю в пустоте. Я не могу читать. Смысл не долетает. Эти таблетки частично забирают боль. Стоит ли такая разница в мучительности боли моего сознания? Пытаюсь понять и не могу, потому что я ничего не понимаю. Чтобы написать эти строки, мне понадобилось около двух часов.

Смотрят силу импульсов. На легкое изменение температуры воздуха моя нервная система реагирует, как у нормальных людей на пожар. Спрашивают, как я живу вообще. Нормально живу. У меня всегда пожар.

Когда лежишь в больнице месяц, чувство, будто вокруг сменяются арендаторы твоего жилья. Чувство поколений. Постоянно кто-то прощается. Все говорят: еще увидимся. Зачем это нужно? Может, людям стоит научиться прощаться без этих смазочных фраз? Четко принимать тот факт, что, скорее всего, мы уже никогда не увидимся, и прощаться честно, полностью, без «еще»?

Все еще не могу принять тот факт, что ждать полного обезболивания бессмысленно. Это и есть принятие – без ожидания высвобождения.

Ты можешь терпеть сильнейшую боль, зная, что ее вот-вот снимут, но уменьши я ее вполовину и объяви бесконечной, как ты взвоешь в тот же миг. Я вою.

## Август – сентябрь, исследования

Третья ночь лихорадки. В полубреду всплывает образ абхазской ежевики. Каждое утро я выходила за ней на заброшенную железную дорогу. Важнее всего было чувство встречи с природой, важнее всего было возвращаться. Ежевика была несладкая, но я ела ее, ела без конца, с жадностью, без оглядки. Будто не имела возможности усомниться, будто приручала. Я лежу в темной кровати, во рту дрябло и кисло. Кто-то заходит в комнату.

– Ань, я еду в «Ашан», тебе что-то нужно?

– Мам, если бы то, что мне нужно, было в «Ашане»!

– Ну Ань, ну хоть что-нибудь.

– Ну мам, ну хоть что-нибудь!

Завтра операция на глазах. Немного волнуюсь, учитывая весьма небольшое количество глаз, которыми обладаю. Но даже приятно сделать что-то понятное и простое, точно имеющее результат. Иногда с той же целью я мою посуду.

Где-то в Москве кто-то пошел во ВГИК. Все это неопознанно далеко, как под сомнением. Кажется, если помахать туда рукой, никто бы не разглядел.

Почему еще мне трудно разговаривать с людьми: разные границы очевидного, следовательно, с разных отметок начинается то, о чем стоит, имеет смысл разговаривать; в разной степени ревностное отношение к истине (безразличие в большинстве своем, имеющее, однако, свои уклоны и оттенки, но тем не менее безразличие, грустное, налитое, непоправимое).

Каждую весну мне кажется, что холода отступают навсегда, что это была битва и мы победили. Я не могу принять такую цикличность, где большую часть цикла хочется наглотаться земли. Каждое лето наступает как долгожданное решение трудной задачи с помощью элементарного здравого смысла. И каждую осень мне кажется, что все разрушено, что мир нужно отвоевывать с нуля.

Для исследования нужны были мои волосы. Спрашиваю: сколько? Чайную ложку. Это они хорошо придумали. Стою в кабинете и как дура ищу ложку глазами. Дают ножницы и колбу. А это зачем? Сюда подыши, будем смотреть воздух. Забирают волосы, воздух, тонну крови и кусочки кожи. Кажется, что кто-то где-то сможет собрать вторую меня. Я бы серьезно поговорила с этим человеком.

Еду в Москву. Так и не научилась любить этот город, где с первых секунд причмокивают вслед.

Всё смотрит в окно поезда. Вообще всё. Мое и чужое прошлое, ничье будущее, личная и общечеловеческая боль, кусковая, мигающая радость, чьи-то джинсы.

Немного темнеет в глазах. Развоят невкусный кофе.

Из окна смотрит всё и трогает меня за плечо. Остаюсь одна, не глядя смахнув его руку.

### **Сентябрь, Италия**

Плюс восемь, сыро, я сижу на камнях на Набережной неизлечимых. Темнеет. Для меня вся Венеция – сплошной Бродский. Вся Венеция – только Набережная неизлечимых, куда ни пойти. Эссе об этом городе, наверное, любимый его текст. Почему-то проза Бродского всегда была даже вкуснее стихов, я и познакомилась-то с ним, прочитав Нобелевскую лекцию, а все эти «не выходи из комнаты», «надцатые мартабря» – все это гораздо позже. Но даже если бы они не случились, если бы я осталась навсегда в неведении относительно того, что Бродский вообще писал какие-нибудь стихи, даже если бы он их действительно не писал, он все равно бы был поэтом. И его проза – поэзия. А если бы он снимал кино, его фильмы были бы поэзией. Даже если бы он лечил зубы, это бы было поэзией.

Я подумала об этом впервые, читая именно «Набережную неизлечимых» когда-то в автобусе Паттайя – Бангкок в шесть утра, плюс сорок по Цельсию. Поэзия не литература.

Плюс восемь, сыро, я сижу на камнях на Набережной неизлечимых. Темнеет. Поэзия – это этот город. Поэзия – этот самый момент, который я сейчас живу, момент, когда красота уже воплотилась в твердь, но еще не отделилась от воды.

За мной стоит отец и курит. Я не сразу замечаю, как он вернулся, проведив в номер Варю и маму после наших долгих прогулок, бесед, ласки со вкусом травы от кашля, восторгов первого вечера в Италии. Маме не нравилось, что мы с отцом будем гулять вдвоем, а их отправляем спать, но и она, и Варя слишком устали. По правде, у меня тоже ноют ноги, замерзли уши, но я говорю, что совсем нет. Я говорю, что не хочу спать, хотя хочу и чувствую себя совсем маленькой.

– Пошли?

Мы оставляем воду здесь, то есть, почти выныривая, уходим в узость улиц. Папа иногда молча указывает мне на особенно красивые дверные ручки. Пахнет мерзлыми водорослями, тем самым запахом, что делал счастливым Иосифа Александровича. Действительно ими пахнет.

Отходя и несколько раз оглядываясь, мама просит хотя бы не гулять медленно-медленно под руку, «а то вы двусмысленно смотрите». Мы идем под руку, медленно-медленно. Мы не смотримся двусмысленно.



Мы выходим к оживленному мосту, все заполнено разными языками, вспышками айфонов, остатками чьих-то выходных духов. Люди фотографируются, не меняя лиц. Тут и там молодые мальчики предлагают парочкам купить розы. Женщины едва заметно мотают головой, немножко морщатся, мол, не хочется и не к месту. Но им хочется. И мне хочется. И я морщусь. А папа покупает.

Чувствуется, что вечер углубился, уже совсем ночь, хотя темнее не становилось. Мы идем вдоль воды. По шатрам, раскинутым над пустой дорогой, понимаем, что это рынок. Я представляю, как днем люди в гондолах здесь покупают зеленые связки, как трещит воздух, а потом снова падаю в тишину. Ночь. Отец улыбается. Он очень любит свежие овощи, рыбу и большие полные пакеты продуктов с остатками земли. С детства мы всегда ездили на рынок вдвоем, это наш радостный ритуал. Папа выбирает долго и со вкусом, осматривает много товара, хотя заранее знает, что и у кого станет покупать. Он перекидывается со всеми парой слов, пробует фрукты, по нескольку раз спрашивает, чего я хочу, ходит между прилавками, жмет продавцам руки, широко улыбаясь, и забирает все вкусные запахи этого места.

Моя мама не любит рынки. Она не любит, когда много людей, и не любит глупые шутки. Сама она шутит только с серьезной интонацией и только очень смешно, но над ее юмором трудно смеяться. Его хочется записать.

Мы подходим к отелю – оставить сумки, взять шарф и выйти еще раз к воде, но, оказавшись около простыней, ноги отвергают эту затею. Я, уже лежа, пытаюсь достать из-под себя покрывало и почувствовать сладость чистого белья. Папа стучит в мой номер, я что-то бурчу, он не слышит и почти сразу уходит.

Утром мама, зайдя за помадой, встречается с розами на комодке. Мы с ней обмениваемся взглядами. «Пошлость какая-то, – говорит. – Давай одевайся».

Первый итальянский завтрак. Мама несколько раз просит убрать книгу, с третьего я слушаю, но потом открываю снова.

– Лёш, ну скажи, а!

– Еще одно кофе, пожалуйста... Ань, они не понимают.

– Лёш, потому что кофе один.

– One more please, – я машу руками официанту через ползала.

– Нет, господа, мне Лёша всю жизнь запрещал с ним читать за одним столом!

Папа пожимает плечами. Мама настаивает.

– Мам, ну я специально книгу перед поездкой купила.

Я отсаживаюсь за другой столик. Беру еще сыру с чаем. Они доедают быстрее, уходят собираться, а я все завтракаю. Проходя, отец легонько целует меня в затылок, и сразу становится стыдно. У него есть какая-то

способность выражать особое «любовное недовольство», из-за которого тут же немедленно хочется стать другим человеком, при том что проваливаться под землю – не хочется.

Я тяжело расставалась с этим городом, пыталась взять в машину немного засохшие розы, но «что за излишняя сентиментальность» и маме «только этого не хватало».

Маме не хватало еще и папиных песен посреди галереи Уффици пару дней спустя. Папа, конечно, прикалывается. Поет «только рюмка водки на столе», стоя перед картинами Боттичелли.

– Лёш, ты в Италии. Здесь не только.

За несколько недель мама научила меня находить картины Джорджоне в зале с тридцатью работами его учеников. По-человечески объяснила, чем же так особен Рафаэль. Познакомила с каждым из рода Медичи и даже (с потом и кровью) заставила открыться мне прелесть скульптур, которой в моем мире никогда не существовало.

Я с трепетом замирала перед «Пьетой» Микеланджело, танцевала на мосту Флоренции с папой импровизированный пьяный вальс под уличных музыкантов, стояла сорок минут без движения, запрокинув голову, в Сикстинской капелле, спала у стенки в Колизее, пока все слушали гида.

Маме было сложно с нами. Она ходила с экскурсоводом, который знает куда меньше ее, и кивала. Отходила в сторону с того моста, где мы танцевали с отцом, чтобы никто не узнал, что она имеет к нам отношение. В Риме радовалась папиному «пойдем развалины посмотреть» и оставалась на раскопках после «всё, я развалился». Делала нам замечания. Водила экскурсии сама. Просила не фамильярничать, прилюдно называя ее «любимой». Просила не фотографироваться, как дураки. Просила вина.

Морщась и мотая головой, принимала розы, которые отец покупал ей у уличных мальчишек. Съезжая из отеля, отрезала стебли и, пока никто не видит, бережно убирала головки цветов в бардачок. ♦